

К 550-летию
со дня рождения
Алишера Навои
Мерцание
ГАЗЕЛИ



Тетради по Навои

В пространство ночи
белую щепотку
рассыпала как будто бы колдунья,
беловолосая (а волосы как пакля)
старушка переходящая —
зима.
Ах, всё черным-бело!
Нет, в Индии нет снега,
а она же,
под белым — смуглолицая индуска,
по ветру распустила свое сари...
Ах, намело...
И вдруг сама колдунья — тень из ночи,
зловещая вначале,
потихоньку
вся просветлела старческим лицом —
светлым-светло...
Светло во тьме пустого дома, где
светло вино на дне хрустального фиала,
светло и
ало,
словно треск костра,
вокруг которого пируют до утра,
раз вдруг похолодало.
Зима — причина светлого вина
и бледных лиц, внезапно околесивших
среди развалин моих горьких дум...
И всё же светел, светел
мой дом.
Зима.
Светла, как трезвость утреннего света
после вина с далеким вкусом лета,
оставшимся в крови твоих ночей.

В «Предисловии» к своему рукописному Дивану стихов великий Навои говорит о том, что у каждого сезона года — своя одежда...

Дико или по меньшей мере круто-экзотично загорать летом в тулупе, как и в бикини встречать первый снег. В переводной литературе эта неестественность — сплошь и рядом. Пример из пресловутого — то, как на русский язык переводятся газели.

Дело в том, что в персидских и тюркских языках — языках чудесного расцвета и дивного плодотворения газели как жанра, к примеру, нет показателя рода, а потому Она — это и Он — Абсолют; это и Истина, и Красота, и Любовь. По-русски этого никак не передашь. А между тем на этой фундаментальной мерцательности строится вся поэтика газели, и эта мерцательность пронизывает все ее уровни — от ритмики до тропов.

В персидских и тюркских языках глагол, как правило, располагается в конце предложения: сначала цветистые описания и лишь в конце — действие. А потому место редифа — повторяющейся группы слов в конце каждого стиха газели — активно. В природе русского языка если не наоборот, то, во всяком случае, заметно иначе.

И когда мы скрупулезно соблюдаем формальные правила, естественные в других языках, но совершенно чужеродные в русском, и при этом спорим, что важнее при переводе — ритмика или рифма, то это все равно, как спрашивать у птицы, какую воду она предпочитает для жизни — пресную или морскую? Птица должна летать...

Так я думал лет пять-семь назад, когда пытался переводить предлагаемые ныне газели, отказываясь наотрез от набивших оскомину правил и просто строя русскую поэтическую вариацию по Навои. Путей, как мне казалось, много — от помещения редифа в начале строки по принципу риторического нагнетания и до простой верлибризации, разумеется, при тщательном сохранении образного ряда оригинала. Почти как строить джазовую аранжировку по Моцарту.

Сейчас, в дни празднования 550-летнего юбилея великого Поэта, Мыслителя, Государственного деятеля, когда в Узбекистане весь год объявлен годом Навои, когда я сам знаю Навои на 5—7 лет лучше, чем знал, я бы не решился на подобные эксперименты. Но вот что мне послужило поддержкой.

Навои рассказывал, как на одном из поэтических собраний, которыми была столь богата жизнь Герата, вслед слепому поэту Аязи на каждый его стих он отвечал мгновенно стихом того же размера, ритма, стиля, рифмы, и этим страшно удивил старца. Прошло три года, и то же самое повторилось уже в другом саду на другом собрании. Когда у знаменитого слепца спросили: «Видел ли ты когда-нибудь подобное?» — тот ответил: «Три года назад один парень разыгрывал меня точно так же!» И все рассмеялись...

А если серьезно, то для того, чтобы читать настоящего Навои, равно как и Хафиза или Насими, Бедиа или Машраба, нет лучшего пути, чем учить языки, на которых они писали. Труды ваши при этом окупятся сторицей.

Хамид ИСМАЙЛОВ

Там — ад,
там прошлое колдуньи,
горячей
осколка солнца среди туч
в просветах...

Этой ночью пришла в мою хижину
та,
что шагала стремительно —
с роз облетали
и лепестки, и росы ей в такт...

Пришла,
и тень ее ресниц,
мелькнув страшнее тьмы кинжала,
слилась вдруг
с тьмой ее волос,
накрывших грудь...

Как задрожало
всё существо мое, подобно пыли
вокруг луча из щели, в тьме сарая,
свиваясь в жгут.

Она усмехнулась,
коснулась руки моей,
сестра предлагая с ней рядом,
и взглядом
ровным, словно поверхность жемчужины
(ах, игра перламутра...)
как будто спросила:
«Бедняжка влюбленный,
ну как тебе без меня?»

Что было мне ответить ей?
Я промолчал. Тогда она
взяла бутылку красного вина
и разлила по двум большим фиалам.

«Ты как безумец, как Меджнун при пери...
Скажи два слова... мы закроем двери...»
Но выпил молча я и зарыдал у ног ее
без чувств... «Как мало
нам нужно», — думал я,
хмельной от этих слов.

Зачем тому,
кто власть упьется явью снов,
иная явь, что пролита
на скатерть неба
ало?..

Светало...

Я видел во сне кипарис
и розу,
цветком я дышал,
а к стволу прикасался.

И тот, и другая, кем я наслаждался,
вы сон не могли бы мне истолковать?
Припомни, как пламя лица этой розы
в своих лепестках сердцевидных по капле
росу моих слез превращало в пчелиный
воск, чтобы жалу луча не сновать.

Не так ли друзья, испугавшись психоза,
навесили цепи на двери, на окна,
связали кровать,
чтобы мне не давать
увидеть картину, которую вряд ли
сумеют представить себе манихеи,
или даже как Мани,
нарисовать
все то, что равно инструменту смерти.

Соедини два конца и в разбитом
сердце осколки твоих сновидений
вспыхнут, как вечное царство
развалин,
чтобы померкнуть

в блеске вина или в страсти привычки...

Ах, почему не смирился мне с богом,
с долей своей, что прискилась итогом,
который и въявь Он не переиначит.

А стало быть, все равно, как обозначит
имя Ее —
с прописной ли,
в кавычках...

Свеча

Чиркнула спичка —
И в этом окне загорелась свеча,
И проступило бледное личико
Из-за мужского плеча.
О чем ты, девчушка? —

к верхнему срезу стекла
Тянешь ледышкой ладонь
Из толщи безмолвия в рубашке ночной
Вся дрожа, или трепещет свеча?

Не плачь, олененок,
мордочкой в холод уткнувшись,
Не плачь, мой подснежник,
Пальцы стекнут по лицу,
как по стеклу,

Отражая подсвечник,
Откуда растет свеча.
Слышишь, сошли снежинки
В потусторонний мир и
простор подоконника

Белого —
И вовсе не беглый покойник,
И не сумасшедший,
Заброшенный

в мифические пространства прошлого,
И в память его свеча,
И даже не то, как ты плачешь —
Напуганно, крупнозернисто,
Как в снимке без ретушировки —
Растаявшим стеарином
Льет через край свеча,
И даже не снег, и не бабочки детства,
Спялая мохнатая крылья,
Ложатся ковровой дорожкой к ногам —
Это бескровно и рыхло
Порхает свеча...

Вглядись в эту толщу стекла,
За которой пустует теперь

помещение ночи
В маленьком сердце,
И ни при чем тут свеча.
И вдруг отражение,
Взглядом, сожженным дотла,
Посмотрит на две восковые фигуры
Глазами ничьими, никчемными,
Как эта свеча,
И шепот провиснет,
Сплетаясь с оторвавшимся пламенем:
Душа моя, дочь...
Не угасай...